

«В ПУСТЫНЕ ЧАХЛОЙ И СКУПОЙ...»  
(О стихотворении А.С.Пушкина «Анчар»)

В 1786 г. в журнале «**Детское чтение для сердца и разума**», который издавал выдающийся русский просветитель **Н. И. Новиков**, появился перевод статьи голландского врача Фурша (или Форша). В ней шла речь о таинственном дереве, произрастающем на острове Ява. По словам автора, это дерево источало настолько ядовитую смолу, что даже приближаться к нему было смертельно опасно. Связаны с ним были многие обычаи. Один из таких обычаев, писал автор, – посылать осужденного на смерть преступника за ядовитой смолой, и если этот человек возвращался живым, то он не только получал помилование, но и вознаграждался «местным государем».

Заметка Фурша не осталась без внимания: спустя 10 лет ее перепечатал другой журнал – «Муза», а в 1819 году, в пору пушкинской молодости, журнал Новикова был переиздан. Это либо иные подобные сообщения о загадочном «древе яда» и послужили А.С. Пушкину основой для создания одного из самых мрачных произведений в русской лирике – стихотворения «Анчар». Напомню его текст:

В пустыне чахлой и скупой,  
На почве, зноем раскаленной,  
Анчар, как грозный часовой,  
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей  
Его в день гнева породила,  
И зелень мертвую ветвей  
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,  
К полудню растопясь от зноем,  
И застывает ввечеру  
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,  
И тигр нейдет: лишь вихорь черный  
На древо смерти набежит —  
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,  
Блуждая, лист его дремучий,  
С его ветвей, уж ядовит,  
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек  
Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек  
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу  
Да ветвь с увядшими листьями,  
И пот по бледному челу  
Струился холодными ручьями;

Принес — и ослабел и лег  
Под сводом шалаша на лыки,  
И умер бедный раб у ног  
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал  
Свои послушливые стрелы  
И с ними гибель разослал  
К соседям в чуждые пределы.

Пушкинское стихотворение, завершенное осенью 1828 г., впервые появилось в альманахе «**Северные цветы на 1832 г.**». Сохранились **черновики**, по которым можно судить о том, какая воистину гигантская работа была проделана поэтом. По наблюдениям исследователей, прежде чем оформились эти девять четверостиший, 36 строк, Пушкин оставил в черновиках более 700 вариантов. Об этом стоит упомянуть, потому что нам еще придется обратиться в дальнейшем к черновым вариантам (некоторым из них), чтобы более ясно представить себе замысел поэта.

А замысел этот далеко не прост. Стихотворение «Анчар» десятки раз подвергалось анализу, о нем написаны сотни страниц. Но вопросы остаются и по сей день: что же именно имел в виду Пушкин, создавая образ страшного дерева, носителя зла и смерти? Как следует расшифровать историю, поведенную в заключительных четырех строфах этого текста? Почти два столетия предпринимаются попытки истолковать пушкинский замысел, объяснить его и через конкретные обстоятельства пушкинской жизни в 1828 г., и через особенности понимания поэтом природы и сущности мирового зла.

Одна из самых популярных трактовок «Анчара» сводится к следующему: в этом стихотворении поэт, продолжая верить в безусловную ценность человеческой свободы, развивая многие идеи своей же ранней вольнолюбивой лирики, выступает, гневно выступает против деспотизма первых лет **николаевского правления**, обличает жестокость царя-владыки, сочувствует «бедному рабу». Конечно же, в этой трактовке присутствует и какая-то доля правды, но именно что доля. Любой мало-мальски вдумчивый и подготовленный читатель, безусловно, ощутит разницу между текстом 1828 г. и такими свободолюбивыми стихотворениями молодого Пушкина, как ода «Вольность». Или послание «К

Чаадаеву». Или «Сказки». Или, допустим, «Деревня». «Анчар» явно мощнее, он не вмещается в то истолкование, о котором мы ведем речь, не исчерпывается им.

Другая трактовка «Анчара», также нередко присутствующая и в специальной литературе, и в школьной практике, конечно же, много серьезнее. Её сторонники справедливо обращают внимание на шестую строфу стихотворения, на ее начало: «Но человека человек/ Послал к анчару властным взглядом...» Присмотримся: «человека человек». Иначе говоря, они, эти двое, по формальным основаниям равны, еще нет «непобедимых владык» и «бедных рабов». Да и властный *взгляд* не равен *слову категорического приказа*. Но почему-то один из них повинуется другому, отправляется в путь за смертоносной смолой анчара; жертвуя собственной жизнью, приносит, по-видимому в доказательство подлинности смолы, «ветвь с увядшими листьями» и умирает у ног «непобедимого владыки» уже «бедным рабом». Получается, «раб» сам повинен в такой своей участи; он не оказал сопротивления владыке, не возмутился, не восстал против несправедности молчаливого приказа. Мало того, своей покорностью, своим безгласным смирением этот человек (бедный раб) способствовал умножению зла и смерти в мире: ведь ядом, им принесенным, «царь» (в другой версии «князь») «напитал/ Свои послушливые стрелы/ И с ними гибель разослал/ К соседям в чуждые пределы» и тем самым увеличил число новых рабов. Согласитесь, что такое истолкование пушкинского стихотворения, в соответствии с которым оказывается виновным в случившейся трагедии не только владыка, но и раб, выглядит куда более масштабным. И с ним можно было бы согласиться, если бы не одно *но*.

Не совсем понятно, почему Пушкину для воплощения этой мысли (о виновности обоих, а не только владыки) потребовалось дать в первых пяти четверостишиях столь развернутую картину существования анчара. Один из истолкователей пушкинского стихотворения вообще усомнился в обязательности всех пяти строф первой части и полушутливо-полусерьезно заявил, что, с его точки зрения, ее можно было бы существенно сократить. Между прочим, мы вполне способны провести соответствующий эксперимент: например, «изъять» из текста пятое четверостишие, а то и третье. В этом случае первая часть, укороченная на восемь строк, звучала бы так:

В пустыне чахлой и скупой,  
На почве, зноем раскаленной,  
Анчар, как грозный часовой,  
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей  
Его в день гнева породила,  
И зелень мертвую ветвей  
И корни ядом напоила.

К нему и птица не летит,  
И тигр нейдет: лишь вихорь черный  
На древо смерти набежит —  
И мчится прочь, уже тлетворный.

А далее: «Но человека человек/ Послал к анчару властным взглядом...» и т.д. Кажется, что в этом экспериментальном варианте логика никак не нарушена, что замысел поэта, каким этот замысел предстает во второй трактовке, ни в чем не потерпел ущерба. Но трудно поверить, что, при такой громадной предварительной работе, Пушкин мог оставить в сравнительно небольшом стихотворении «лишние», необязательные строки и целые строфы. Значит, надо постараться понять ту внутреннюю логику, которой подчинена первая часть «Анчара», ту логику, которая объяснила бы абсолютную уместность, безусловную необходимость каждого из ее четверостиший.

Стихотворение «Анчар» - одно из проявлений того кризиса, через который проходит поэт в 1828 г. Первый биограф Пушкина **Павел Васильевич Анненков** писал: «В это время существование Пушкина делается порывистым и беспокойным... мысли его становятся тревожны и смутны в это время, и часто возвращается он к самому себе с грустью, упреком и мрачным настроением духа. Стихотворение «Воспоминание» написано 19 мая, «Дар напрасный...» - 26 мая, а за ними следовало «Снова тучи надо мною...». Перечень Анненкова может быть и расширен, например, трагическим стихотворением «Утопленник», тоже созданным в 1828 г. В концовке «Воспоминания» Пушкин напишет: «И, с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалеюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». (Не случайно же эти грандиозные стихи так любил **Лев Толстой**, неоднократно цитировал их, причем, по воспоминаниям близких Толстому людей, нередко допускал неточность, заменяя более сдержанное, приглушенное пушкинское «печальных» на совсем уже резкое и безапелляционное «постыдных» («но строк постыдных не смываю»).

У кризиса 1828 г., конечно, были и биографические причины (усиление цензурного гнета, разочарование в Николае I, тягостная личная несвобода и многое, многое другое), но истоки этого кризиса, безусловно, были связаны с вопросами религиозными. Доказать и

показать это не так сложно — достаточно напомнить вам стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...».

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум.

Эти стихи, написанные Пушкиным в день рождения, сам поэт впоследствии назвал «скептическими куплетами». Что значит в данном случае *скептические*? Написанные человеком, усомнившимся в Божественном происхождении мира, утратившим ясные представления о смысле своего существования, о своем предназначении.

Присмотримся под этим углом зрения к началу «Анчара»:

В пустыне чахлой и скупой,  
На почве, зноем раскаленной,  
Анчар, как грозный часовой,  
Стоит — один во всей вселенной.

Слово *пустыня* у Пушкина нередко означает *мир, жизнь* (например, в стихотворном послании поэту **Ивану Ивановичу Козлову** он напишет: «Недаром темною стезей я проходил пустыню мира...»). Да и в прославленном «Пророке»: «...В пустыне мрачной я влачился...» - образ пустыни имеет, конечно же, переносное, символическое значение.

Каков же образ пустыни в «Анчаре»? Она, «скупая и чахлая», раскалена от зноя, кажется, что в таком мире в принципе нет места для **ОРГАНИЧЕСКОЙ** жизни! Но все-таки именно здесь вырос анчар, причем, что важно, «один». Одиночество анчара поэт стремится всячески подчеркнуть: перед словом *один* мы видим тире, акцентирующее наше внимание на том, что это «древо» одиноко не только в этой пустыне, но и - «во всей вселенной». Иначе говоря, над анчаром никакой иной, высшей силы нет. Перед нами воистину «страшный мир» (так назовет один из своих циклов великий русский

поэт уже Серебряного века **Александр Блок**), и мелькает пока еще смутная догадка о том, что в таком страшном мире нет Бога. Эта догадка находит подтверждение во втором четверостишии:

Природа жаждущих степей  
Его в день гнева породила,  
И зелень мертвую ветвей  
И корни ядом напоила

Мы знаем о двух силах, способных созидать: о творящей силе Божества и о рождающей силе природы. Пушкин говорит: анчар есть порождение «жаждущих степей» – природы, или, как тогда часто говаривали, натуры. Причем природа эта – «в день гнева». Может быть, это единственный случай вообще в пушкинской поэзии, когда три слога подряд оказываются ударными, нарушая свободное, эпически уравновешенное движение четырехстопного ямба, которым написан «Анчар»: «...Его в день гнева...» Что же способна породить такая, гневающаяся природа? «Мертвую зелень ветвей». Перед нами по сути дела соединение несоединимого: зеленый – цвет жизни, весны, обновления и воскрешения сущего, а здесь, у порожденного страшной природой анчара, этот цвет становится цветом смерти. И последняя строка второго четверостишия также чрезвычайно важна: жаждущая природа способна утолить собственную жажду, лишь «напоив» себя ядом.

Итак, анчар, порожденный природой, существует в мире, в котором нет Божественного присутствия, – таков исходный тезис автора. В следующей строфе центральным становится мотив яда. Вдумаемся в ее начало: «яд каплет сквозь его кору». Слово *яд* опять-таки Пушкиным проакцентировано с помощью внесхемного ударения, так называемого спондея – ведь первый слог в ямбической строке обычно не бывает ударным. Особое внимание приобретает удивительно найденный предлог *сквозь*: яд не просто стекает по древесной коре или застывает на ней, он показан не как что-то внешнее по отношению к существованию анчара. Нет, анчар перенасыщен, переполнен ядом! Привлекая внимание к этому мотиву, Пушкин дает образ яда в разных состояниях: и в жидком («растопясь от зноя»), и в отвердевшем («застывает ввечеру»). Следующая, четвертая строфа представляет пространство вокруг древа яда, древа смерти:

К нему и птица не летит,  
И тигр нейдет: лишь вихорь черный  
На древо смерти набежит —  
И мчится прочь, уже тлетворный.

Поэт пишет: «не летит», «нейдет», но по законам художественного восприятия мы-то как раз представляем летящую поверху птицу и крадущегося понизу, по раскаленной почве, тигра. И та и другая траектории - горизонтальны. А черный вихрь как бы соединяет намеченные прежде траектории движения. По ходу дела замечу, как значимо перекликается в звуковом плане определение вихря с названием всего текста: *черный - анчар*. Второе определение вихря, тлетворный, - тоже очень важно: это церковнославянское слово содержит два корня. Значения этих корней противоположны: *творить* и *тлен* (т.е. прах). Сегодня устаревшее, значение всего слова как бы раздваивается: *с одной стороны, порождающий тление, гибель, с другой - порожденный тлением*. Но и то и другое работают в пушкинском тексте с предельной нагрузкой.

А в пятой строфе «горизонтальное» видение пространства сменяется «вертикальным»:

И если туча оросит,  
Блуждая, лист его дремучий,  
С его ветвей, уж ядовит,  
Стекает дождь в песок горючий.

Туча – над анчаром, и дождевая влага, падающая сверху вниз, едва соприкоснувшись с «дремучей» листвой этого дерева, стекает в горючий песок, уже насыщенный ядом. Таким образом, анчар оказывается как будто в точке пересечения всех мировых дорог (птицы и тигра, вихря и дождя) и стихий («раскаленная почва» - земля и огонь, «вихрь» - воздух, ядовитый «дождь» - вода). Он (анчар) воистину показан Пушкиным в качестве центра мироздания.

Кажется, мы убедились, насколько необходимо каждое четверостишие из первой части стихотворения; каждый элемент здесь формирует и усиливает ощущение чудовищной действительности, порожденной гневающейся природой, а не благой, творящей силой Бога. Только создав такой образ мира, своеобразной «осью» которого является анчар, Пушкин переходит ко второй, «балладной» части стихотворения. Но если мы учтем все то, что осмыслили в связи с начальной частью, то иначе посмотрим и на многие важнейшие моменты во второй.

В первую очередь изменения коснутся восприятия переломных строк: «Но человека человек / Послал к анчару властным взглядом...» При традиционном подходе, напомним, шла речь об исходном равенстве этих двоих. Но природа не знает равенства – это перед Высшим, вне- и надприродным, началом все люди по большому счету действительно равны. Но если это Высшее вынесено за скобки, если

оно не участвует в созидании мира, то ни о каком равенстве между людьми не может быть и речи: один (по природе) силач, Геркулес, другой - слабак; один – красив, как Аполлон, другой – уродлив, как Квазимодо, одному (по природе) даны многочисленные таланты, другой, что делать, вполне зауряден. Так ведь и «властный взгляд» - это тоже данное природой одному, но отсутствующее у другого. И здесь полезно обратиться к пушкинским черновикам: в одном из отвергнутых поэтом вариантов было так: «Но человека человек / Послал к анчару властным словом...» *Словом*, а не *взглядом*. Почему же поэт отказался от этого варианта? Позволю себе предположение: слово имеет Божественное основание. Вспомним, как начинается **Евангелие от Иоанна**: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И Пушкин, в соответствии с религиозными представлениями своего времени, не хочет, отказывается наделять словом (Словом!) палача - «непобедимого владыку». Вообще говоря, вся вторая часть поражает какой-то... немотой, что ли. В восьмой строфе Пушкин заменяет черновое "Принес - и весь он изнемог / И лег он, *испуская крики*" на «...лег под сводом шалаша на лыки». В абсолютном безмолвии совершается злодейство: отдается страшный приказ, бедный раб отправляется за смертоносной смолой, а по возвращении так же молча умирает у ног властелина. В этом мире, где существует лишь природное, нет места для слова протеста, мольбы, хотя бы жалобы.

В том и дело, что в мире, где владычествует анчар, эти двое *изначально* не были равны: один из них был рожден владыкой, другой – рабом. Обратите внимание, как поразительно точен Пушкин в обрисовке этого (по природе!) рабского состояния: «И тот послушно в путь потек / И к утру возвратился с ядом». Потек, да еще послушно – как что-то совершенно бессильное, безвольное, бескостное, как ручей течет по руслу, ему предназначенному!

Как же в этом случае может быть понят пушкинский замысел? О чем «Анчар»? Может быть, это притча или даже миф о начале человеческой истории, но такой, которая осуществлялась бы в мире, где отсутствует Божественная воля? В таком мире история началась со злодеяния (человек посылает другого на верную гибель ради осуществления своих захватнических планов) и продолжилась еще большим злодейством:

А царь тем ядом напитал  
Свои послушливые стрелы  
И с ними гибель разослал  
К соседям в чуждые пределы.



В стихотворении «Анчар» Пушкин воплотил один из самых трудных, трагических моментов в своем духовном становлении. Но этот момент в восприятии и понимании природы, к счастью, отнюдь не стал для поэта итоговым. Уже в следующем, 1829 г. Пушкин напишет о совершенно иной, так сказать, «антианчарной» природе, сияющей «вечной красотой» над могилой, а спустя еще семь лет, в стихотворении 1836 года «Не дорого ценю я громкие права...», он скажет о величайшем наслаждении дивиться «Божественным красотам» окружающего мира.